Неведомый шедевр

Автор:
Оноре де Бальзак

Неведомый шедевр

Оноре де Бальзак

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Эликсир долголетия». У смертного одра своего отца величайший из соблазнителей и циников Дон Жуан становится обладателем и хранителем великого и опасного магического артефакта…

«Неведомый шедевр». Старый художник всю жизнь посвятил созданию одного-единственного шедевра – загадочного портрета, который он не показывает никогда и никому…

«Поиски абсолюта». Знатный фламандец, одержимый тайнами познания, готов ради них на все: на расточительство, одиночество, разрыв с близкими и даже на преступление…

«Прощенный Мельмот». Вот уже много веков странствует по миру бессмертный Мельмот-Скиталец. Кто же согласится принять его бессмертие, а с ним вместе и его проклятие?

Перед вами четыре поразительные новеллы, входящие вместе с «Шагреневой кожей» в цикл «Философские этюды».

Оноре де Бальзак

Неведомый шедевр

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Эликсир долголетия

Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д’Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семь женщин вели веселую приятную беседу за столом, на котором горели благовонные свечи; по сторонам на красной облицовке стен выделялись беломраморные изваяния и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, убранные драгоценными каменьями – менее яркими все же, чем их глаза, – всем своим видом эти семь женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходствовали между собой, но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам свой характер беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный.

Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».

Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».

Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».

Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, восклицала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»

Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей, но безмолвствовала. «Мне не понадобятся bravi, чтобы убить любовника, ежели он

меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бонбоньерку.[1 - Наемные убийцы (ит.).]

– Когда станешь ты герцогом? – спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.

– Когда же твой отец умрет? – со смехом говорила седьмая, пленительным, задорным движением кидая в дона Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.

– Ах, не говорите мне о нем! – воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро. – На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!

Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дона Хуана и самого князя. Лет через двести, при Людовике XV, франты расхохотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в начале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то что взорам являлись восхитительнейшие женщины, – может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и Божеским судом – до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шалыми – опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух Божий в образе старого седого слуги с нетвердой походкой и насупленными бровями. Он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск празднества, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорою женским белым плечам. И весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:

– Ваша светлость, батюшка ваш умирает…

Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».

Нередко смерть близких застает молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница, но смерть более верна и еще никого не обманула.

Закрыв за собой дверь зала и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь, войдя в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть, и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.

Отец дона Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания», – улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутливо говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был единственный случай, когда старик любуется юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда уже достиг шестидесятилетнего возраста, Бартоломео влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятнадцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны. Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные привычки, которые он усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет: он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палаццо оглашалось радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе и пажи ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему

верному товарищу – черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А, это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца столь покладистого и снисходительного, поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкой добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И, чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажился на свете. Он вновь обретал в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать честным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных залов, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью возле полуугасшего очага. На столике готической формы стояла лампа и время от времени освещала ложе вспышками света то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому доном Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, обозначилась голова отца: черты лица его уже осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полуоткрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной и напоминала череп на столе у медика. Под складками одеяла ясно вырисовывалось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло, кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили какой-то механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.

– Ты веселился! – воскликнул отец, приметив сына.

В ту же минуту легкий и чистый голос певицы, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладал над воем урагана и донесся до комнаты умирающего… Дону Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.

Бартоломео сказал:

– Я не сержусь на тебя, дитя мое.

От этих нежных слов не по себе стало дону Хуану, который не мог простить отцу его разящей как кинжал доброты.

– О, как совестно мне, отец! – сказал он лицемерно.

– Бедняжка Хуанино, – глухо продолжал умирающий, – я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!

– О! – воскликнул дон Хуан. – Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вернуть жизнь вам!

«Что мне стоит это сказать! – подумал расточитель. – Ведь это все равно что дарить любовнице целый мир!»

Едва он так подумал, старый пудель залаял так, что от его лая задрожал дон Хуан: казалось, пес проник в его мысли.

– Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! – воскликнул умирающий. – Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.

«Он бредит», – решил дон Хуан, а вслух произнес:

– Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.

– Не о такой жизни идет речь, – сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение – одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти. – Выслушай меня, мой сын, – продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия, – я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты – от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота…

«Разумеется», – подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно-бледную руку Бартоломео.

– Но, отец мой, дорогой отец, – продолжил он вслух, – нужно покориться воле Божьей.

– Бог – это я! – пробормотал в ответ старик.

– Не богохульствуйте! – воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика. – Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомазания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.

– Выслушай же меня! – воскликнул умирающий со скрежетом зубовным.

Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды виолы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.

– Спасибо тебе, что пригласил певиц, что привел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные женщины, черные волосы и белая кожа! Все наслаждения жизни. Вели им остаться, я оживу…

«Бред все усиливается», – подумал дон Хуан.

– Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящике стола, открой его, нажав пружинку, прикрытую грифом.

– Открыл, отец.

– Возьми флакон из горного хрусталя.

– Он в моих руках.

– Двадцать лет потратил я на… – В эту минуту старик почувствовал приближение конца и собрал все силы, чтобы произнести: – Как только я испущу последний вздох, тотчас же натри меня всего этой жидкостью, и я воскресну.

– Здесь ее не очень много, – ответил юноша.

Хотя говорить уже не мог, Бартоломео сохранил способность слышать и видеть. В ответ на слова сына голова старика с ужасной быстротой повернулась к нему, и шея застыла в этом повороте, как у мраморной статуи, которая, по мысли скульптора, обречена смотреть в сторону; широко открытые глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер, умер, потеряв свою единственную, последнюю иллюзию. Пытаясь найти убежище в сердце сына, он обрел могилу глубже той, которую выкапывают для покойников. И вот ужас разметал его волосы, а глаза, казалось, говорили. То был отец, в ярости взывавший из гробницы, чтобы потребовать у Бога отмщения!

– Эге! Да он кончился! – воскликнул дон Хуан.

Спеша поднести к свету лампы таинственный хрустальный сосуд подобно пьянице, который смотрит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул: показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться за занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в доне Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерею таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту

торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неявственные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка – словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дона Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные утренними лучами, когда солнце борется с бледными огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свои соболезнования.

– Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? – сказал князь на ухо Брамбилле.

– Но ведь его отец был в самом деле очень добр, – ответила она.

Между тем от ночных дум на лице дона Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть: все, что олицетворяло жизнь, – пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство – религией! Князь сочувственно пожал руку дону Хуану; потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная-полуравнодушная гримаса, и фантасмагорическое видение исчезло, зал опустел. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:

– Странно! Кто бы подумал, что дон Хуан мог похваляться безбожием? Он любит отца.

– Обратили вы внимание на черного пса? – спросила Брамбилла.

– Богатствам его счету нет теперь, – со вздохом заметила Бьянка Каватолино.

– Велика важность! – воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бонбоньерку.

– Велика ли важность? – воскликнул герцог. – Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!

Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже чревата ужасающим эгоизмом. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим занимательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.

– Оставьте меня здесь одного, – сказал он странно изменившимся голосом. – Зайдете сюда потом, когда я выйду.

Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:

– Попытаемся!

Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, бальзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнаты, и хоть мягкое сукно неявственно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже покрылось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить бальзамирование. Хоть дон Хуан и был вооружен скептицизмом, но, откупоривая волшебный хрустальный сосуд, дрожал. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так как его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора. И вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.

– Ага! – произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.

Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы. Свет дрожал в нем среди свежей влаги, и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дона Хуана; он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал; он впивался в дона Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании, – словом, это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось жизни в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил и прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке, на висевших на стенах коврах. Всю комнату усеяли искры, полные огня, жизни, разума. Повсюду сверкали глаза и преследовали его, как затравленного зверя.

– Он прожил бы еще сто лет! – невольно воскликнул дон Хуан в ту минуту, когда дьявольская сила опять привлекла его к ложу отца, и вгляделся в эту светлую искорку.

Вдруг веко в ответ на его слова закрылось и открылось вновь, как то бывает у женщины, выражающей согласие. Если бы даже услышал «да!», дон Хуан не испугался бы так.

«Как быть?»

Он храбро протянул руку, чтобы закрыть белеющее веко, но усилия его оказались тщетными.

«Раздавить глаз? Не будет ли это отцеубийством?» – задал он себе вопрос.

«Да», – ответил глаз, подмигнув с жуткой насмешливостью.

– Ага! – воскликнул дон Хуан. – Здесь какое-то колдовство!

Он подошел ближе, чтобы раздавить глаз, но крупная слеза потекла по морщинистой щеке трупа и упала на ладонь юноши.

– Какая жаркая слеза! – воскликнул он, садясь. Этот поединок его утомил, как будто он наподобие Иакова боролся с ангелом. Наконец он поднялся, говоря: – Только бы не было крови.

Потом, собрав в себе все мужество, необходимое для подлости, он не глядя раздавил глаз при помощи полотенца. Неожиданно раздался ужасный стон: взвыв, издох пудель.

«Неужели он был сообщником этой тайны?» – подумал дон Хуан, глядя на верную собаку.

Дон Хуан Бельвидеро прослыл почтительным сыном: воздвиг на могиле отца памятник из белого мрамора и поручил выполнение фигур знаменитейшим ваятелям того времени. Полное спокойствие он обрел лишь в тот день, когда статуя отца, склонившая колена перед изображением Религии, огромной тяжестью надавила на могилу, где сын похоронил единственный укор совести, тревоживший его сердце в минуты телесной усталости. Произведя подсчет несметным богатствам, которые скопил старый знаток Востока, дон Хуан стал скупцом: ведь ему нужны были деньги на две жизни человеческие. Его глубоко испытующий взгляд проник в сущность общественной жизни и тем лучше постиг мир, что видел его сквозь замогильный мрак. Он стал исследовать людей и вещи, чтобы раз навсегда разделаться с прошлым, о котором представление дает история; с настоящим, образ которого дает закон; с будущим, тайну которого открывают религии. Душу и материю бросил он в тигель, ничего в нем не обнаружил и с тех пор сделался истинным доном Хуаном!

Став владыкой всех житейских иллюзий, молодой, красивый, он ринулся в жизнь, презирая свет и овладевая светом. Его счастье не могло ограничиться мещанским благополучием, которое довольствуется неизменной вареной говядиной, грелкой – на зиму, лампой – на ночь, и новыми туфлями – каждые три месяца. Нет, он постиг смысл бытия! Так обезьяна хватает кокосовый орех и без промедления ловко освобождает плод от грубой шелухи, чтобы заняться сладкой мякотью. Поэзия и высшие восторги страсти были уже не для него. Он не повторял ошибок тех властителей, которые, вообразив, что маленькие душонки верят в души великие, решают разменивать высокие мысли будущего на мелкую монету нашей повседневной жизни. Конечно, и он мог, подобно им, ступая по земле, поднимать голову до небес, но предпочитал сидеть и осушать поцелуями нежные женские губы, свежие и благоуханные; где ни проходил, повсюду он, подобно Смерти, все бесстыдно пожирал, требуя себе любви-

обладания, любви восточной, с долгими и легкими наслаждениями. В женщинах он любил только женщину, и ирония стала его обычной манерой. Когда его возлюбленные превращали ложе любви в средство для взлета на небо, чтобы забыться в пьянящем экстазе, дон Хуан следовал за ними с той серьезностью, простодушием и откровенностью, какую умеет напустить на себя немецкий студент. Но он говорил «я», когда его возлюбленная безумно и страстно твердила «мы»! Он удивительно искусно позволял женщине себя увлечь. Он настолько владел собой, что внушал ей, будто бы дрожит перед нею, как школьник, который, впервые в жизни танцуя с молодой девушкой, спрашивает ее: «Любите ли вы танцы?» Но он умел и зарычать, когда это было нужно, и вытащить из ножен шпагу, и разбить статую командора. Его простота заключала в себе издевательство, а слезы – усмешку; умел он и заплакать в любую минуту, вроде той женщины, которая говорит мужу: «Заведи мне экипаж, иначе я умру от чахотки». Для негоциантов мир – это тюк товаров или пачка кредитных билетов, для большинства молодых людей – женщина, для иных женщин – мужчина, для остряков – салон, кружок, квартал, город; для дона Хуана Вселенная – это он сам! Образец изящества и благородства, образец чарующего ума, он готов был причалить лодку к любому берегу, но когда его везли, он плыл только туда, куда сам хотел. Чем дольше жил, тем больше во всем сомневался. Изучая людей, он видел, что часто храбрость не что иное, как безрассудство, благоразумие – трусость, великодушие – хитрость, справедливость – преступление, доброта – простоватость, честность – предусмотрительность; люди действительно честные, добрые, справедливые, великодушные, рассудительные и храбрые, словно по воле какого-то рока, нисколько не пользовались уважением.

«Какая же все это холодная шутка! – решил он. – Она не может исходить от Бога».

И тогда, отказавшись от лучшего мира, он уже не обнажал головы, если перед ним произносили священное имя, и статуи святых в церквах стал считать только произведениями искусства. Однако, отлично понимая механизм человеческого общества, он никогда не вступал в открытую борьбу с предрассудками, ибо он не мог противостоять силе палача, но изящно и остроумно обходил общественные законы, как это отлично изображено в сцене с господином Диманшем. И в самом деле, он сделался типом в духе мольеровского Дон Жуана, гетевского Фауста, байроновского Манфреда и матьюреновского Мельмота. Великие образы, начертанные величайшими талантами Европы, образы, для которых никогда не будет недостатка в аккордах Моцарта, а может быть – и в лире Россини! Эти грозные образы, увековеченные существующим в человеке

злым началом, переходят в копиях из века в век: то этот тип становится посредником между людьми, воплотившись в Мирабо, то действует исподволь по способу Бонапарта, то преследует Вселенную иронией, как божественный Рабле, или, чаще, смеется над людьми, вместо того чтобы издеваться над порядками, как маршал Ришелье, а еще чаще глумится и над людьми, и над порядками, как знаменитейший из наших посланников. Но глубокий гений дона Хуана Бельвидеро предвосхитил все эти гении вместе. Он надо всем смеялся. Жизнь его стала издевательством над людьми, порядками, установлениями и идеями. А что касается вечности, то он однажды непринужденно беседовал полчаса с папой Юлием II, и, улыбаясь, заключил беседу такими словами:

– Если уж безусловно надо выбирать, я предпочел бы верить в Бога, а не в дьявола: могущество, соединенное с добротой, все же обещает больше выгод, чем дух зла.

– Да, но Богу угодно, чтобы в этом мире люди каялись…

– Вечно вы думаете о своих индульгенциях, – ответил Бельвидеро. – Для раскаяния в грехах моей первой жизни у меня имеется про запас еще целая жизнь.

– Ах, если так ты понимаешь старость, – воскликнул папа, – то, чего доброго, будешь причислен к лику святых…

– Все может статься, раз вы достигли папского престола.

И они отправились посмотреть на рабочих, воздвигавших огромную базилику Святого Петра.

– Святой Петр – гениальный человек, вручивший нам двойную власть, – сказал папа дону Хуану. – Он достоин этого памятника. Но иногда ночью мне думается, что какой-нибудь новый потомок смоет это все губкой и придется начинать сначала.

Дон Хуан и папа расхохотались, они поняли друг друга. Человек глупый пошел бы на следующий день развлечься с Юлием II у Рафаэля или на прелестной вилле «Мадама», но Бельвидеро пошел в собор на папскую службу, чтобы еще укрепиться в своих сомнениях. Во время кутежа папа мог бы сам себя

опровергнуть и заняться комментариями к Апокалипсису.

Впрочем, мы пересказываем эту легенду не для того, чтобы снабдить будущих историков материалами о жизни дона Хуана: наша цель – доказать честным людям, что Бельвидеро вовсе не погиб в единоборстве с каменной статуей, как это изображают иные литографы. Достигнув шестидесятилетнего возраста, дон Хуан Бельвидеро обосновался в Испании. Здесь на старости лет он взял себе в жены молодую пленительную андалузку, но посчитал, что не стоит быть хорошим отцом, хорошим супругом. Он замечал, что нас нежно любят только женщины, на которых мы мало обращаем внимания. Воспитанная в правилах религии старухой теткой в глуши Андалузии, в замке неподалеку от Сан-Лукара, донья Эльвира была сама преданность, само очарование. Дон Хуан предугадывал в девушке одну из тех женщин, которые, прежде чем уступить страсти, долго борются с нею, поэтому надеялся сберечь ее верность до самой смерти. Эта его шутка была задумана всерьез, как своего рода партия в шахматы; он приберег ее на последние дни жизни. Наученный всеми ошибками своего отца Бартоломео, дон Хуан решил, что в старости все его поведение должно содействовать успешному развитию драмы, которой суждено было разыграться на его смертном ложе, поэтому большую часть богатств своих он схоронил в подвалах феррарского палаццо, редко им посещаемого, а другую половину своего состояния поместил в пожизненную ренту, чтобы жена и дети были заинтересованы в длительности его жизни. К этой хитрости следовало бы прибегнуть и его отцу, но в такой макиавеллистической спекуляции особой надобности не возникло. Юный Филипп Бельвидеро, его сын, вырос в такой же мере религиозным испанцем, в какой отец его был нечестив словно оправдывая пословицу: «У скупого отца сын расточитель». Духовником герцогини Бельвидеро и Филиппа дон Хуан избрал сан-лукарского аббата. Этот церковнослужитель, человек святой жизни, отличался высоким ростом, удивительной пропорциональностью телосложения, прекрасными черными глазами и напоминал Тиверия чертами лица, изможденного от постов и бледного от постоянных истязаний плоти (как всем отшельникам, ему были знакомы повседневные искушения). Может быть, старый вельможа рассчитывал, что успеет еще при-соединить к своим деяниям и убийство монаха, прежде чем истечет срок его первой жизни, но то ли аббат обнаружил силу воли, неменьшую, чем у дона Хуана, то ли донья Эльвира оказалась благоразумнее и добродетельнее, чем полагается быть испанкам, – во всяком случае дону Хуану пришлось проводить последние дни у себя дома, в мире и тишине, как старому деревенскому попу. Иногда он с удовольствием находил у сына и жены погрешности в отношении религии и властно требовал, чтобы они выполняли все обязанности, налагаемые Римом на верных сынов церкви. Словом, он чувствовал

себя совершенно счастливым, слушая, как галантный сан-лукарский аббат, донья Эльвира и Филипп обсуждают какой-нибудь вопрос совести. Но сколь чрезмерно ни заботился о своей особе сеньор дон Хуан Бельвидеро, настали дни дряхлости, а вместе со старческими болезнями пришла пора беспомощным стонам, тем более жалким, чем ярче были воспоминания о кипучей юности и отданных сладострастью зрелых годах. Человек, который издевательски внушал другим веру в законы и принципы, им самим предаваемые осмеянию, засыпал вечером, произнося: «Быть может!» Образец хорошего светского тона, герцог, не знавший устали в оргиях, великолепный в волокитстве, встречавший неизменное расположение женщин, чьи сердца он так же легко подчинял своей прихоти, как мужик сгибает ивовый прут, – этот гений не мог избежать неизлечимых мокрот, докучливого воспаления седалищного нерва, жестокой подагры. Он наблюдал, как зубы у него исчезают один за другим, – так по окончании вечеринки одна за другой уходят белоснежные и расфранченные дамы, и зал остается пустым и неприбранным. Наконец, стали трястись его дерзкие руки, стали подгибаться стройные ноги, и однажды вечером апоплексический удар сдавил ему шею своими ледяными крючковатыми пальцами. Начиная с этого рокового дня он сделался угрюм и жесток, усомнился в преданности сына и жены, порой утверждая, что их трогательные, деликатные, столь щедрые и нежные заботы объясняются только пожизненной рентой, в которую вложил он свое состояние. Тогда Эльвира и Филипп проливали слезы и удваивали уход за хитрым стариком, который, придавая нежность своему надтреснутому голосу, говорил им:

– Друзья мои, милая жена, вы меня, конечно, простите? Я вас мучаю немножко! Увы! Великий Боже! Ты избрал меня своим орудием, чтобы испытать два этих небесных создания! Их утешением нужно бы мне быть, а я стал их бичом…

Таким способом приковывал он их к изголовью своего ложа, и за какой-нибудь час, пуская в ход все новые сокровища своего обаяния и напускной нежности, заставлял их забывать целые месяцы бессердечных капризов. То была продуманная система, увенчавшаяся несравнимо более удачными результатами, чем та, которую когда-то к нему самому применял отец. Наконец болезнь достигла такой степени, что, укладывая его в постель, приходилось с ним возиться, точно с фелюгой, когда она входит в узкий фарватер. А затем настал день смерти. Блестящий скептик, у которого среди ужаснейшего разрушения уцелел один только разум, теперь переходил в руки то к врачу, то к духовнику, внушавшим ему одинаково мало симпатий, но встречал их равнодушно. За покровом будущего не искрился ли ему свет? На завесе, свинцовой для других, прозрачной для него, легкими тенями играли восхитительные утехи его юности.

Однажды, в прекрасный летний вечер, дон Хуан почувствовал приближение смерти. Изумительной чистотой сияло небо Испании, апельсиновые деревья благоухали, трепещущий и яркий свет струили звезды; казалось, вся природа дает верный залог воскрешения. Послушный и набожный сын смотрел на него любовно и почтительно. К одиннадцати часам отец пожелал остаться наедине с этим чистосердечным существом.

– Филипп, – сказал он голосом настолько нежным и ласковым, что юноша вздрогнул и заплакал от счастья: суровый отец еще никогда так не произносил его имя! – Выслушай меня, сын мой, – продолжил умирающий. – Я великий грешник, оттого всю жизнь и думал о смерти. В былые годы я дружил с великим папой Юлием Вторым. Преславный глава церкви опасался, как бы крайняя вспыльчивость не привела меня к смертному греху перед самой кончиной, уже после миропомазания, и подарил мне флакон со святой водой, некогда брызнувшей в пустыне из скалы. Я сохранил в тайне это расхищение церковных сокровищ, но мне разрешено было открыть тайну своему сыну in articulo mortis. Ты найдешь фиал в ящике готического стола, который всегда стоит у изголовья моей постели[2 - В смертный час (лат.).]… Драгоценный хрусталь еще окажет услугу тебе, возлюбленный Филипп. Клянись мне вечным спасением, что в точности исполнишь мою волю!

Филипп взглянул на отца. Дон Хуан умел различать выражения чувств человеческих и мог почить в мире, вполне доверившись подобному взгляду, меж тем как его отец умер в отчаянии, поняв по взгляду своего сына, что ему довериться нельзя.

– Другого отца был бы ты достоин, – продолжал дон Хуан. – Отважусь признаться, дитя мое, что, когда почтенный сан-лукарский аббат провожал меня в иной мир последним причастием, я думал, что несовместимы две столь великие власти, как власть дьявола и Бога…

– О, отец!

– …и рассуждал: когда Сатана будет заключать мир, то непременным условием поставит прощение своих приверженцев, иначе он оказался бы самым жалким существом. Мысль об этом меня преследует. Значит, я пойду в ад, сын мой, если ты не исполнишь моей воли.

– О, отец! Скорей же сообщите мне вашу волю!

– Едва я закрою глаза – быть может, через несколько минут, – ты поднимешь мое тело, еще не остывшее, и положишь на стол, здесь, посреди комнаты. Потом погасишь лампу: света звезд тебе будет достаточно, – снимешь с меня одежду и, читая «Отче наш» и «Богородицу», а в то же время душу свою устремляя к Богу, тщательно смочишь этой святой водой мои глаза, губы, всю голову, затем постепенно все части тела. Но, дорогой мой сын, могущество Божье так безмерно, что не удивляйся ничему!

В этот миг, чувствуя приближение смерти, дон Хуан добавил ужасным голосом:

– Смотри не оброни флакон!

Затем он тихо скончался на руках у сына, проливавшего обильные слезы на ироническое и мертвенно-бледное его лицо.

Было около полуночи, когда дон Филипп Бельвидеро положил труп отца на стол и, поцеловав его грозный лоб и седеющие волосы, погасил лампу. При мягком свете луны, причудливые отблески которой ложились на пол, благочестивый Филипп неясно различал тело отца, белеющее в темноте. Юноша смочил полотенце жидкостью и с молитвой, среди глубокого молчания, послушно совершил омовение священной для него головы. Он явственно слышал какие-то странные похрустывания, но приписывал их ветерку, игравшему верхушками деревьев. Когда же он смочил правую руку, то его шею вдруг мощно обхватила молодая и сильная рука – рука его отца! Он испустил душераздирающий крик и выпустил флакон. Тот разбился, и жидкость испарилась. Сбежалась вся челядь замка с канделябрами в руках. Крик поверг их в ужас и изумление, как если бы сама Вселенная содрогнулась при трубном звуке Страшного суда. В одно мгновение комната наполнилась народом. Трепещущая от страха толпа увидела, что дон Филипп лежит без чувств, а его шею сдавливает могучая рука отца. А затем присутствующие увидели нечто сверхъестественное: лицо дона Хуана было юно и прекрасно, как у Антиноя: черные волосы, блестящие глаза, алый рот, но голова ужасающе шевелилась, будучи не в силах привести в движение связанный с нею костяк.

Старый слуга воскликнул:

– Чудо!

И все испанцы повторили:

– Чудо!

Донья Эльвира, при своем благочестии не в силах и мысли допустить о чудесах магии, послала за сан-лукарским аббатом. Когда приор собственными глазами убедился в чуде, то, будучи человеком неглупым, решил извлечь из него пользу: о чем же и заботиться аббату, как не об умножении доходов? – и тотчас объявил, что дон Хуан, безусловно, будет причислен к лику святых, и назначил торжественную церемонию в монастыре, которому, по его словам, отныне предстояло именоваться монастырем Святого Хуана Лукарского. При этих словах покойник скорчил шутовскую гримасу.

Всем известно, до чего испанцы любят подобного рода торжества, а потому не трудно поверить в то, какими религиозными фееериями отпраздновало сан-лукарское аббатство перенесение тела блаженного дона Хуана Бельвидеро в церковь. Через несколько дней после смерти знаменитого вельможи из деревни в деревню на пятьдесят с лишком миль вокруг Сан-Лукара стремительно распространилось известие о чуде его частичного воскресения, и сразу же необыкновенное множество зевак потянулось по всем дорогам. Они подходили со всех сторон, приманиваемые пением «Тебе, Бога, хвалим» при свете факелов. Построенное маврами изумительное здание старинной мечети в сан-лукарском монастыре, своды которого уже три века оглашались именем Иисуса Христа, а не Аллаха, не могло вместить толпу, сбежавшуюся поглядеть на церемонию. Как муравьи, собрались идальго в бархатных плащах, вооруженные своими славными шпагами, и стали вокруг колонн, ибо места не находилось, чтобы преклонить колена, которые больше нигде ни пред чем не преклонялись. Очаровательные крестьянки в коротеньких расшитых юбочках, которые обрисовывали их заманчивые формы, приходили под руку с седовласыми старцами. Рядом с расфранченными старухами сверкали глазами молодые люди. Были здесь и парочки, трепещущие от удовольствия, и сгорающие от любопытства невесты, приведенные женихами, и вчерашние новобрачные; дети, боязливо взявшиеся за руки. Вся эта толпа, привлекавшая богатством красок, поражавшая контрастами, убранная цветами и пестрая, неслышно двигалась среди ночного безмолвия. Распахнулись широкие церковные двери. Запоздавшие остались на паперти, и смотрели на зрелище, о котором лишь слабое понятие дали бы воздушные декорации современных опер, издали, через

три открытых портала. Святоши и грешники, спеша заручиться милостями новоявленного святого, зажгли в его честь множество свечей по всей обширной церкви – корыстные приношения, придававшие монументальному зданию волшебный вид. Чернеющие аркады, колонны и капители, глубокие ниши часовен, сверкающие золотом и серебром, галереи, мавританская резьба, тончайшие детали этих тонких узоров – все вырисовывалось благодаря чрезвычайному обилию света (так в пылающем костре возникают причудливые фигуры). Над этим океаном огней господствовал в глубине храма золоченый алтарь, где возвышался главный престол, который своим сиянием мог поспорить с восходящим солнцем. Сверкание золотых светильников, серебряных канделябров, хоругвей, свисающих кистей, статуй святых и ex voto и в самом деле бледнело перед ракой, в которую положен был дон Хуан. Тело безбожника сверкало драгоценными каменьями, цветами, хрусталем, бриллиантами, золотом, перьями, белоснежными, как крылья серафима, и занимало на престоле то место, которое отведено изображению Христа. Вокруг горели бесчисленные свечи, распространяя волнами сияние. Почтенный сан-лукарский аббат, облекшись в одежды священнослужителя, в митре, изукрашенной дорогими самоцветами, в ризе и с золотым крестом, восседал, как владыка алтаря, в царственно пышном кресле, среди клира бесстрастных седовласых старцев, одетых в тонкие стихари и окружавших его, как на картинах святители группами стоят вокруг Творца. Староста певчих и должностные лица капитула, убранные блестящими знаками своего церковного тщеславия, двигались среди облаков ладана подобно светилам, свершающим свой ход по небесному своду. Когда наступил час великого прославления, колокола разбудили окрестное эхо, [3 - Приношения по обету (лат.).]и многолюдное собрание кинуло Господу первый клик хвалы, которым начинается «Тебе, Бога, хвалим». Какая возвышенность в этом клике! Голосам чистейшим и нежным, голосам женщин, молящихся в экстазе, мощно и величаво вторили мужчины. Тысячи громких голосов не мог покрыть орган, как ни гудели его трубы. И лишь пронзительные ноты, выводимые хором мальчиков, да плавные возгласы первых басов, вызывая прелестные представления, напоминая о детстве и силе, выделялись среди восхитительного концерта голосов человеческих, слитых в едином чувстве любви:

– Тебе, Бога, хвалим!

Из собора, где чернели коленопреклоненные мужские и женские фигуры, неслось пение, подобное вдруг сверкнувшему в ночи свету, и как будто раскаты грома нарушали молчание. Голоса поднялись ввысь вместе с облаками ладана, набросившими прозрачное голубоватое покрывало на фантастические чудеса

архитектуры. Повсюду богатство, благоухание, свет и мелодичные звуки! В то мгновение, когда музыка любви и признательности вознеслась к престолу, дон Хуан, чересчур вежливый, чтобы пренебречь благодарностью, чересчур умный, чтобы не понять этого глумления, разразился в ответ ужасающим хохотом и небрежно развалился в раке. Но так как дьявол внушил ему мысль, что он рискует быть принятым за самого обыкновенного человека, за одного из святых, за одного какого-нибудь Бонифация или Панталеоне, нарушил мелодию воем, к которому присоединилась тысяча адских голосов.

Земля благословляла, небо проклинало.

Дрогнули древние основания церкви.

– Тебе, Бога, хвалим! – гласило собрание.

– Идите вы ко всем чертям, скоты! Все Бог да Бог! Carajos demonios, животные, дурачье вы все вместе с вашим дряхлым Богом![4 - Испанское ругательство.]

И вырвался поток проклятий подобно пылающей лаве при извержении Везувия.

– Бог Саваоф!.. Саваоф! – воскликнули верующие.

– Вы оскорбляете величие ада! – ответил дон Хуан, заскрежетав зубами.

Вскоре ожившая рука высунулась из раки и жестом, полным отчаяния и иронии, пригрозила собравшимся.

– Святой благословляет нас! – сказали старухи, дети и женихи с невестами, люди доверчивые.

Вот как мы ошибаемся, поклоняясь кому-нибудь. Выдающийся человек глумится над теми, кто его восхваляет, а иногда восхваляет тех, над кем глумится в глубине души.

Когда аббат, простершись перед престолом, пел: «Святый Иоанне, моли Бога о нас!» – до него явственно донеслось:

– O coglione.[5 - Дурак (ит.).]

– Что там происходит? – воскликнул заместитель приора, заметив какое-то движение в раке.

– Святой беснуется, – ответил аббат.

Тогда ожившая голова с силой оторвалась от мертвого тела и упала на желтый череп священнослужителя.

– Вспомни о донье Эльвире! – крикнула голова, вонзая зубы в череп аббата.

Тот испустил ужасный крик, прервавший церемонию. Сбежались все священники.

– Дурак, вот и говори, что Бог существует! – раздался голос в ту минуту, когда аббат, укушенный в мозг, испускал последнее дыхание.

Париж, октябрь 1830 г.

Неведомый шедевр

I. Жиллетта

В конце 1612 года, холодным декабрьским утром, какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного на улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна она ни была, юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей прихожую, юноша стал медленно подниматься,

останавливаясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердца великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава – ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, – страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, како-го-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.

Удрученный нуждой и удивленный в эту минуту собственной своей дерзновенностью, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, стал с любопытством его рассматривать, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как

будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:

– Добрый день, мэтр.

Порбус учтиво поклонился. Полагая, что тот пришел со стариком, он впустил юношу и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак, но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.

Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну, свет из которого падал прямо на бледное лицо Порбуса и голый, цвета слоновой кости, череп странного человека. Внимание

юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.

– Твоя святая мне нравится, – сказал старик Порбусу, – я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней… черт возьми!

– Вам нравится эта вещь?

– Хе-хе, нравится ли? – пробурчал старик. – И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую. И потому только, что время от времени смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, воображаете, будто вы художники и будто похитили тайну у Бога… Бррр! Для того чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение. Я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины: недостает пространства и глубины, – а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно. Несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и груди. Вот это место дышит, ну а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там – статуя, а дальше – труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в

твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.

– Но отчего же, дорогой учитель? – почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша едва сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками.

– А вот отчего! – сказал старик. – Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул. В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, – сказал старик, указывая на грудь святой. – И потом, еще здесь, – добавил он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. – Но вот тут, – указал он, снова возвращаясь к середине груди, – тут все неверно… Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние…

Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.

– Учитель, – сказал ему Порбус, – все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне…

– Задачи искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт! – живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. – Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой: ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая

точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз уж я взял этот пример, не только составляет часть человеческого тела – она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны – одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но не видите ее. Не таким путем удается вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто: нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее, а схватив, держать крепко, чтобы принудить к сдаче. Форма – это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или в крайнем случае вторым, третьим; не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, – сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. – Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях – та, какой она должна быть и у нас, – только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир – это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указует нам выразительные средства, источник которых – вся прошлая жизнь. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая – брюнетка, но вот эти краски, бедный мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами, – и это вы называете живописью и искусством! Только из-за того, что сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях – currus venustus или pulcher homo[6 - Прекрасная колесница

(лат.).][7 - Красивый человек (лат.).], – как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками!.. Ха-ха… Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи, придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен, раньше чем стать художниками. Совершенно справедливо: женщина держит голову таким образом, так приподнимает юбку, утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так – и не так! Чего же здесь недостает? Пустяка, но этот пустяк – все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел; иначе сказать, вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь. Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается. О, Мабузе! – воскликнул этот странный человек. – О, учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь!.. При всем том, – продолжил старик, – это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок – три существенные части искусства.

– Но эта святая восхитительна, сударь! – воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. – В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.

– Это ваш юнец? – спросил Порбус старика.

– Увы, учитель, простите меня за дерзость, – ответил новичок, краснея. – Я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.

– За работу! – сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.

Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.

– Ого!.. – воскликнул старик. – Ваше имя?

Юноша подписал под рисунком: «Никола Пуссен».

– Недурно для начинающего, – сказал странный, так безумно рассуждавший старик. – Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь – великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбус.

Порбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Порбус подал ему, и почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера. Внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии. Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы:

– Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы. Как этим писать?

Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне «O filii».

Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание.

– Видишь ли, юноша, – говорил старик, не оборачиваясь, – видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере. Посмотри, как эти складки колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет ветерок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона – красно-коричневый и жженой охры – разлились теплом по

этому большому затененному пространству, серому и холодному, где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться? Юноша, юноша, никакой учитель не научит тому, что я показываю тебе сейчас! Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика – меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что намекаю.

Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины: сюда наносил два мазка, туда – один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись – живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе; он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, столь соблазнительной для юношеской фантазии. Старик продолжал свою работу, приговаривая:

– Паф! Паф! Паф! Вот как оно мажется, юноша! Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона. Ну же! Так, так, так! – говорил он, оживляя те части, на которые указывал как на безжизненные, несколькими пятнами красок уничтожая несогласованность в телосложении и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке. – Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько!

Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал:

– Этой вещи еще далеко до моей «Прекрасной Нуазезы», однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной, – прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. – А теперь пойдемте завтракать. Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы все-таки что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей, – добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.

Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:

– Я покупаю твой рисунок.

– Возьми, – сказал Порбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. – Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля!

Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, столь милых в обращении.

– Юноша, – сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин, – не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние.

Это был «Адам» – картина, написанная Мабузе затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, словно думал при этом: «Я получше пишу».

– В ней есть жизнь, – сказал он, – мой бедный учитель здесь превзошел себя, но в глубине картины он не совсем достиг правдивости. Сам человек вполне живой – вот-вот встанет и подойдет к нам, – но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет! Да и человек здесь только человек. Между тем в этом единственном человеке, только что вышедшем из рук Бога, должно было бы чувствоваться нечто божественное, а его-то и недостает. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян.

Пуссен посмотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса. Он подошел к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома, но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, несомненно человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.

Увидев на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул:

– Какой прекрасный Джорджоне!

– Нет, – возразил старик. – Перед вами одна из ранних моих вещиц.

– Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! – сказал простодушно Пуссен.

Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.

– Френхофер, учитель мой, – сказал Порбус, – не уступите ли вы мне немного вашего доброго рейнского?

– Две бочки, – ответил старик, – одну в награду за то удовольствие, какое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую – в знак дружбы.

– Ах, если бы не постоянные мои болезни, – продолжал Порбус, – и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу «Прекрасную Нуазезу», я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.

– Показать мою работу? – воскликнул в сильном волнении старик. – Нет-нет! Я еще должен завершить ее. Вчера под вечер я думал, что закончил свою «Нуазезу». Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались. Она дышала! Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры, но сегодня утром, при свете, я понял

свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита, разобрал, рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень – только случайность, запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые понемногу сгущал, передал тени, вплоть до черных, до самых глубоких, – ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, словно состоит из иного, чем в местах освещенных, вещества, – это дерево, бронза – все, что угодно, только не затененное тело. Чувствуется, что, если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что пишут правильно, только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы стоят ближе к истине, чем мы, художники. Натура состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует! Не смейтесь, молодой человек. Сколь ни странными вам кажутся эти слова, когда-нибудь вы уразумеете их смысл. Линия есть способ, посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии освещения на облик предмета. Но в природе, где все выпукло, нет линий: только моделированием создается рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует. Только распределение света дает видимость телам! Поэтому я не давал жестких очертаний, я скрыл контуры легкою мглою светлых и теплых полутонов, так что у меня нельзя было бы указать пальцем в точности то место, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется как бы мохнатой, ей словно недостает точности, но если отступить на два шага, то все сразу делается устойчивым, определенным и отчетливым, тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух. И все-таки я еще недоволен, меня мучат сомнения. Может быть, не следовало проводить ни единой черты, может быть, лучше начинать фигуру с середины, принимаясь сперва за самые освещенные выпуклости, а затем уже переходить к частям более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира? О, природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Но вот поди ж ты: излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении.

Старик помолчал, затем начал снова:

– Вот уже десять лет, юноша, как я работаю. Но что значат десять коротких лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой! Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмалион, создавая ту единственную статую, которая ожила.

Старик, впав в глубокое раздумье и устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож.

– Это он ведет беседу со своим духом, – сказал Порбус вполголоса.

При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом, превосходящим человека, предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведомой сфере. Он будил в душе тысячу смутных мыслей. Явлений духовной жизни, сказывающихся в подобном колдовском воздействии, нельзя определить точно, как нельзя передать волнение, которое вызывает песня, напоминающая сердцу изгнанника о родине. Откровенное презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Порбус, его работа, так долго скрываемая, работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы Богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с «Адамом» Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства, – все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. В этом сверхъестественном существе пылкому воображению Никола Пуссена ясно, ощутимо представилось только одно: то, что это был совершенный образ прирожденного художника, одна из тех безумных душ, которым дано столько власти и которые ею слишком часто злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не найдут ничего, между тем как этой душе с белыми крыльями, безумной в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создания искусства. Существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное! Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство, искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями.

– Да, милый Порбус, – опять заговорил Френхофер, – мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы

совершенной красоты, а цвет кожи… Но где же найти ее живой, – ненадолго умолк он, затем продолжил, – эту необретаемую Венеру древних? Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты! Ах, чтобы увидать на одно мгновение, только один раз, божественно прекрасную натуру, совершенство красоты, одним словом – идеал, я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота! Как Орфей, я сошел бы в ад искусства, чтобы принести оттуда жизнь.

– Мы можем уйти, – сказал Порбус Пуссену, – он нас уже не слышит и не видит.

– Пойдемте в его мастерскую, – ответил восхищенный юноша.

– О, старый рейтар предусмотрительно закрыл туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Не у вас первого возникла такая мысль и такое желание, я уже пытался проникнуть в тайну.

– Тут, значит, есть тайна?

– Да, – ответил Порбус. – Старый Френхофер – единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Френхофер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей большую часть своих богатств, а Мабузе взамен передал ему секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся. Меж тем Мабузе владел этим мастерством столь совершенно, что, когда ему случалось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла Пятого, он сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана. Френхофер относится со страстью к нашему искусству, воззрения его шире и выше, чем у других художников. Он глубоко размышлял по поводу красок, по поводу абсолютной правдивости линий, но дошел до того, что стал сомневаться даже в предмете своих размышлений. В минуту отчаяния он утверждал, что рисунка не существует, что линиями можно передать только геометрические фигуры. Это совершенно неверно уже потому, что можно создать изображение при помощи одних только линий и черных пятен, у которых ведь нет цвета. Это доказывает, что наше искусство составлено, как и сама природа, из множества элементов: в рисунке дается остов, колорит есть жизнь, но жизнь без остова

нечто более несовершенное, чем остов без жизни. И, наконец, самое важное: практика и наблюдательность для художника – все, и когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то человек доходит до сомнения, как наш старик, художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший. Великолепный живописец, он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. Не подражайте ему! Работайте! Художники должны рассуждать только с кистью в руках.

– Мы проникнем в эту комнату! – воскликнул Пуссен, не слушая более Порбуса, готовый на все ради смелой своей затеи.

Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему.

Никола Пуссен медленным шагом вернулся на улицу де-ля-Арп и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху, под кровлей с выступающими деревянными стропилами – простое и легкое прикрытие старых парижских домов. У тусклого и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве, – она узнала художника по тому, как он взялся за ручку двери.

– Что с тобой? – сказала девушка.

– Со мной, – закричал он, задыхаясь от радости, – случилось то, что я почувствовал себя художником! До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил… Я могу стать великим! Да, Жиллетта, мы будем богатыми, счастливыми! Эти кисти принесут нам золото!

Но внезапно он смолк. Серьезное и энергичное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями, испещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать,

собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды, остаются стойкими в испытаниях бедности и в любви, – как другие бестрепетно бросаются в погоню за роскошью и щеголяют своей бесчувственностью. Улыбка, блуждавшая на губах Жиллетты, позлащала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. Ведь солнце не всегда светило, она же всегда была здесь, отдав страсти все свои душевные силы, привязавшись к своему счастию и к своему страданию, утешая гениального человека, который, прежде чем овладеть искусством, ринулся в мир любви.

– Подойди ко мне, Жиллетта, послушай.

Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней было все очарование и прелесть, она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души.

– О боже, – воскликнул он, – я никогда не посмею сказать ей…

– Какой-то секрет? – спросила она. – Ну говори же!

Пуссен был погружен в раздумье.

– Что ж ты молчишь?

– Жиллетта, милочка!

– Ах, тебе что-нибудь нужно от меня?

– Да…

– Если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз, – сказала она, надув губки, – то я никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хоть и смотришь на меня…

– Тебе было бы приятнее, чтобы мне позировала другая женщина?

– Может быть, но только, конечно, самая некрасивая.

– Ну а что, если ради моей будущей славы, – продолжал Пуссен уже серьезно, – ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим?

– Ты хочешь испытать меня? – сказала она. – Ты хорошо знаешь, что не стану.

Пуссен уронил голову на грудь, как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью.

– Послушай, Ник, – сказала Жиллетта, теребя Пуссена за рукав поношенной куртки, – я говорила, что готова ради тебя пожертвовать жизнью, но никогда не обещала тебе отказаться от своей любви, пока я жива…

– Отказаться от любви? – воскликнул Пуссен.

– Ведь если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь. Да я и сама сочту себя недостойной тебя. Повиноваться твоим прихотям – вполне естественно и просто, не правда ли? Несмотря ни на что, я с радостью и даже с гордостью исполняю твою волю. Но для другого… Какая гадость!

– Прости, милая Жиллетта! – сказал художник, бросившись на колени. – Да, лучше мне сохранить твою любовь, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы! Так выбрось мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся! Мое призвание – любить тебя. Я не художник, а любовник. Да погибнет искусство и все его секреты!

Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам.

– Все же художник этот совсем старик, – сказал Пуссен, – будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красота твоя так совершенна!

– Чего не сделаешь ради любви! – воскликнула она, уже готовая поступиться своей щепетильностью, чтобы вознаградить возлюбленного за все жертвы,

какие он ей приносит. – Но тогда я погибну. Ах, погибнуть ради тебя! Да, это прекрасно! Но ты меня забудешь… О, как ты это нехорошо придумал!

– Я это придумал, а ведь я люблю тебя, – сказал он с некоторым раскаянием в голосе. – Но, значит, я негодяй.

– Давай посоветуемся с дядюшкой Ардуэном! – сказала она.

– Ах нет! Пусть это останется тайной.

– Ну хорошо, я пойду, но ты не входи со мною, – сказала она. – Оставайся за дверью с кинжалом наготове. Если я закричу, вбеги и убей художника.

Пуссен прижал Жиллетту к груди, весь поглощенный мыслью об искусстве.

«Он больше не любит меня», – подумала Жиллетта, оставшись одна.

Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника с тех пор, как заподозрила, что он меньше достоин уважения.

II. Катрин Леско

Через три месяца после встречи с Пуссеном Порбус пришел проведать мэтра Френхофера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а согласно спиритуалистам – несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, смотрел на Порбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской.

– Ну как, учитель, – сказал ему Порбус, – ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим? Или вам не удалось растереть наши новые белила? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы?

– Увы! – воскликнул старик. – Мне казалось одно время, что труд мой закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях и не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие: собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там, наверху, – сказал он с улыбкой удовлетворения, – сама живая красота. Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину и она не исчезла бы…

Затем он внезапно встал, словно уже собрался в путь.

– Похоже, – воскликнул Порбус, – я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот.

– Как так? – спросил удивленно Френхофер.

– Оказывается, молодого Пуссена любит женщина несравненной, безупречной красоты. Но только, дорогой учитель, если уж он согласился отпустить ее к вам, то вам во всяком случае придется показать нам свое полотно.

Старик застыл от изумления как вкопанный.

– Как? – горестно воскликнул он наконец. – Показать мое творение, мою супругу? Разорвать завесу, которой я целомудренно прикрывал свое счастье? Но это было бы отвратительным непотребством! Вот уже десять лет, как я живу одной жизнью с этой женщиной, она моя и только моя, она любит меня. Не улыбалась ли она мне при каждом новом блике, положенном мною? У нее есть душа, я одарил ее этой душою. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее. Показать ее? Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на позорище? Когда пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее всю душу, а продаешь придворным вельможам только раскрашенные манекены. Моя живопись не живопись, это само чувство, сама страсть! Рожденная в моей мастерской, прекрасная Нуазеза должна там оставаться, храня целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным. Разве мы знаем

модель Рафаэля или облик Анджелики, воссозданной Ариосто; Беатриче, воссозданной Данте? Нет! До нас дошло лишь изображение этих женщин. Ну а мой труд, хранимый мною наверху за крепкими запорами, – исключение в нашем искусстве. Это не картина, это женщина – женщина, с которой вместе я плачу, смеюсь, беседую и размышляю. Ты хочешь, чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем, так просто, как сбрасывают с себя плащ? Чтобы я вдруг перестал быть отцом, любовником и богом! Эта женщина не просто творение, она – творчество. Пусть приходит твой юноша, я отдам ему свои сокровища, картины самого Корреджо, Микеланджело, Тициана, я буду целовать в пыли следы его ног, но сделать его своим соперником – какой позор! Ха-ха, я еще в большей мере любовник, чем художник. Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании, но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику – нет! Нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом! Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил моего кумира холодным взорам и безрассудной критике глупцов! Ах! Любовь – тайна, любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина говорит хотя бы своему другу: «Вот та, которую я люблю…»

Старик словно помолодел: глаза его засветились и оживились, бледные щеки покрылись ярким румянцем, – а руки дрожали. Порбус, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам. В своем ли уме Френхофер или безумен? Владела ли им фантазия художника, или высказанные мысли были следствием непомерного фанатизма, возникающего, когда человек вынашивает в себе большое произведение? Есть ли надежда до чего-нибудь договориться с чудаком, одержимым такою нелепой страстью?

Обуянный всеми этими мыслями, Порбус сказал старику:

– Но ведь тут женщина – за женщину! Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?

– Какую там любовницу! – возразил Френхофер. – Рано или поздно она ему изменит. Моя же будет мне всегда верна.

– Что ж, – сказал Порбус, – не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно

красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины.

– О, она закончена, – сказал Френхофер. – Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины – золотой треножник, разливающий благовония. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес, тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско по прозванию Прекрасная Нуазеза. А все-таки я хотел бы увериться…

– Так поезжайте в Азию, – ответил Порбус, заметив во взоре Френхофера какое-то колебание.

И Порбус уже направился к дверям.

В это мгновение Жиллетта и Никола Пуссен подошли к жилищу Френхофера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, словно охваченная внезапным предчувствием.

– Но зачем я иду сюда? – с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза.

– Жиллетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты – моя совесть и моя слава. Возвращайся домой: я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты…

– Разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мной так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же, – продолжила она, видимо делая огромное усилие над собой. – Если наша любовь погибнет и я жестоко буду каяться в своем поступке, то все же не станет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям?.. Войдем! Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре.

Открыв дверь, влюбленные встретились с Порбусом, и тот, пораженный красотой Жиллетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую, к старику и сказал:

– Вот она! Разве она не стоит всех шедевров мира?

Френхофер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла Жиллетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо, она опустила глаза, руки ее повисли: казалось, она теряет силы, – а слезы были немым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей каморки. Любовник взял верх над художником, и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда он увидел, как помолодели глаза старика, как он, по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жестокую ревность истинной любви и воскликнул:

– Жиллетта, уйдем отсюда!

При этом восклицании, при этом крике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия.

– А, значит, ты меня любишь! – отвечала она, заливаясь слезами.

Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость.

– О, предоставьте мне ее на одно мгновение, – сказал старый художник, – и вы сравните ее с моей Катрин. Да, я согласен!

В возгласе Френхофера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой.

– Ловите его на слове! – сказал Порбус, хлопая Пуссена по плечу. – Цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны.

– Неужели я для него только женщина? – ответила Жиллетта, внимательно глядя на Пуссена и Порбуса.

Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении принял за произведение Джорджоне, и тогда Жиллетта решила:

– Ах, идемте наверх. На меня он никогда так не смотрел.

– Старик, – сказал Пуссен, выведенный голосом Жиллетты из задумчивости, – видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки, я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня?

Никола Пуссен был мрачен. Речь его звучала грозно. Слова молодого художника и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жиллетту, и она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему.

Порбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. Вначале автор «Марии Египетской» позволял делать некоторые замечания: «Ах, она раздевается… Он велит ей повернуться к свету!.. Он сравнивает ее…» – но вскоре замолчал, увидев на лице Пуссена глубокую грусть. Хоть в старости художники уже чужды таких предрассудков, ничтожных в сравнении с искусством, тем не менее Порбус любовался Пуссеном: так он был мил и наивен. Сжимая рукоятку кинжала, юноша почти вплотную приложил ухо к двери. Стоя здесь в тени, оба они похожи были на заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана.

– Входите, входите! – сказал им старик, сияя счастьем. – Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут соперницы для моей Катрин Леско, прекрасной куртизанки.

Охваченные нетерпеливым любопытством, Пор-бус и Пуссен выбежали на середину просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полунагой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг.

– О, на эту вещь не обращайте внимания, – сказал Френхофер. – Я делал наброски, чтобы изучить позу, картина ничего не стоит. А тут мои заблуждения, – продолжил он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам.

При этих словах Порбус и Пуссен, изумленные презрением Френхофера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти.

– Вот смотрите! – воскликнул старик, у которого растрепались волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью. – Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами женщина, а вы ищете картину. Так много глубины в этом полотне, воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство? Оно пропало, исчезло. Вот тело девушки. Разве не верно схвачены колорит, живые очертания, где воздух соприкасается с телом и словно облекает его? Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде? Оцените, как контуры отделяются от фона. Не кажется ли вам, что вы можете обхватить рукой этот стан? Да, недаром я семь лет изучал, какое впечатление создается при сочетании световых лучей с предметами. А эти волосы – как они насыщены светом! Но она вздохнула, кажется!.. Эта грудь… смотрите! Ах, кто перед ней не опустится на колени? Тело трепещет! Она сейчас встанет, подождите…

– Видите вы что-нибудь? – спросил Пуссен Порбуса.

– Нет. А вы?

– Ничего…

Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал. Они рассматривали картину, то отходя вправо, то влево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь.

– Да-да, это ведь картина, – говорил им Френхофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. – Глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски и кисти…

И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам.

– Старый ландскнехт смеется над нами, – сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине. – Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих нечто вроде ограды из красок.

– Мы ошибаемся, посмотрите!.. – возразил Порбус.

Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, – кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города.

– Под этим скрыта женщина! – воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины.

Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз, в котором он жил.

– Он верит тому, что говорит, – сказал Порбус.

– Да, друг мой, – ответил старик, приходя в себя, – верить необходимо. В искусстве надо верить и надо сжиться со своей работой, чтобы создать подобное произведение. Некоторые из этих пятен тени отняли у меня немало сил. Смотрите: вот здесь, на щеке, под глазом, лежит легкая полутень, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой. И как вы думаете, разве этот эффект не стоил мне неслыханных трудов? А затем, мой дорогой Порбус, рассмотри-ка внимательней мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно округлостей и контуров. Вглядись в освещение на груди и заметь, как при помощи ряда бликов и выпуклых, густо наложенных мазков мне удалось сосредоточить здесь настоящий свет, сочетая его с блестящей белизной освещенного тела, и как, наоборот, удаляя выпуклости и шероховатость краски,

постоянно сглаживая контуры моей фигуры там, где она погружена в полумрак, я добился того, что бесследно уничтожил рисунок и всякую искусственность и придал линиям тела закругленность, существующую в природе. Подойдите поближе, вам виднее будет фактура. Издали ее не разглядишь. Вот здесь она, полагаю, весьма достойна внимания.

И кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски…

Порбус похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал:

– Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?

– Он более поэт, чем художник, – сказал серьезно Пуссен.

– Тут вот, – продолжал Порбус, дотронувшись до картины, – кончается наше искусство на земле…

– И, исходя отсюда, теряется на небесах, – сказал Пуссен.

– Сколько пережитых наслаждений на этом полотне!

Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников, улыбаясь воображаемой женщине.

– Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет! – воскликнул Пуссен.

– Ничего нет на моем полотне? – спросил Френхофер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину.

– Что вы наделали! – обратился Порбус к Пуссену.

Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему:

– Ты ничего не видишь, деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь! Зачем же ты пришел сюда?.. Мой добрый Порбус, – повернулся он к художнику, – а вы, вы

тоже насмехаетесь надо мной? Отвечайте! Я ваш друг. Скажите, я, может быть, испортил свою картину?

Порбус не решался ответить, но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Порбус показал на полотно и сказал:

– Смотрите сами!

Френхофер некоторое время рассматривал свою картину, потом вдруг зашатался.

– Ничего! Ровно ничего! А я проработал десять лет! – Он сел и заплакал. – Итак, я глупец, безумец! У меня нет ни таланта, ни способностей, я только богатый человек, который бесполезно живет на свете. И мною, стало быть, ничего не создано!

Френхофер смотрел на свою картину сквозь слезы. Вдруг он гордо выпрямился и окинул обоих художников сверкающим взором.

– Клянусь плотью и кровью Христа, вы просто завистники! Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня! Но я, я ее вижу: она дивной красоты!

В эту минуту Пуссен услышал плач Жиллетты, забытой в углу.

– Что с тобой, мой ангел? – спросил ее художник, снова ставший любовником.

– Убей меня, – сказала она. – Любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя. Я любуюсь тобой, и ты мне отвратителен. Я тебя люблю и, мне кажется, уже ненавижу.

Пока Пуссен слушал Жиллетту, Френхофер задергивал свою Катрин зеленой саржей так же спокойно и заботливо, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения и недоверия, затем молча, с какой-то судорожной торопливостью проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома:

– Прощайте, голубчики!

Такое прощание навело тоску на обоих художников.

На следующий день Порбус, тревожась о Френхофере, пошел его навестить и узнал, что старик умер в ночь, успев сжечь все свои картины.

Париж, февраль 1832 г.

Поиски абсолюта

Госпоже Жозефине Деланнуа, урожденной Думерк

Дай Бог этому произведению жить долее, чем мне самому. Тогда и признательность моя к вам, которая, надеюсь, сравняется с вашим добрым, почти материнским отношением ко мне, просуществует сверх срока, определенного нашим чувствам. Эта высшая привилегия – продлевать жизнь сердца в наших произведениях – могла бы (если только быть уверенным, что ею обладаешь) вполне утешить в тех муках, которых она стоит всякому, кто ревностно ее добивается. Еще раз повторяю: дай Бог!

Оноре де Бальзак

В городе Дуэ, на Парижской улице, существует дом, внешний вид которого, внутреннее расположение и детали больше, чем в каком бы то ни было жилище, сохранили характер старых фламандских построек, столь наивно приспособленных к патриархальным нравам этой страны, но, прежде чем его описывать, быть может, следует, в интересах писателей, обосновать необходимость подобных дидактических вступлений, вызывающих протест иных людей, несведущих и жадных, которым подавай чувства без основ, их породивших, цветок – без посеянного зерна, ребенка – без беременности матери. Неужели же искусству быть сильнее природы?

События человеческой жизни, и общественной и частной, так тесно связаны с архитектурой, что большинство наблюдателей могут восстановить жизнь нации или отдельных людей во всем ее подлинном укладе по остаткам общественных зданий или изучая домашние реликвии. Археология для природы социальной то же, что сравнительная анатомия для природы органической. В какой-нибудь мозаике обнаруживается все общество так же, как в скелете ихтиозавра даны все живые существа. С какого бы конца ни начинать, все связано, сплетено одно с другим. Причина позволяет угадывать следствие, и всякое следствие позволяет восходить к причине. Ученый воскрешает таким образом давнишние облики, вплоть до какой-нибудь бородавки. Отсюда и приобретают, конечно, удивительный интерес описания архитектуры, если только фантазия писателя нисколько не искажает ее основ. Ведь всякий может при помощи строгих выводов связать картину настоящего с прошлым, а для человека прошлое до странности похоже на будущее: рассказать ему, что было, не значит ли это почти всегда – сказать, что будет? Наконец, картина тех мест, где протекает жизнь, редко кому не напомнит о его неисполненных обетах или юных надеждах. Сравнение настоящего, обманывающего тайные желания, и будущего, которое может их осуществить, – это неистощимый источник меланхолии или сладостного удовлетворения. Так, почти невозможно не растрогаться перед картинами фламандской жизни, когда хорошо переданы ее подробности. Почему? Быть может потому, что среди различных типов существования она прочнее всего полагает предел человеческой неустойчивости. Она не обходится без всех этих семейных праздников, без домашнего уюта, и жирного довольства, свидетельствующего о постоянном благополучии, и отдыха, близкого к блаженству, но особенно в ней выражается покой и монотонность наивно-чувственного счастья, не знающего пылких желаний, потому что они уже заранее удовлетворяются. Какую бы цену ни придавал страстный человек смятению чувств, он все же никогда не может равнодушно видеть образы той социальной природы, где биение сердца так равномерно, что люди поверхностные обвиняют ее в холодности. Ведь толпа обычно предпочитает силу кипучую, переливающуюся через край, силе ровной и постоянной. Толпе не хватает ни времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная мощь скрыта под внешней обыденностью. Таким образом, чтобы поразить толпу, увлекаемую потоком жизни, у страсти, как и у великого художника, есть одно лишь средство – перешагнуть за предел, что и делали Микеланджело, Бьянка Капелло, г-жа Лавальер, Бетховен и Паганини. Однако великие приверженцы строго расчисленного искусства думают, что никогда не нужно переходить границы, и почитают только способность достигать совершенства в выполнении, а тем самым сообщать всякому произведению глубокое спокойствие, которое очаровывает людей незаурядных. Образ жизни

фламандцев, бережливых по всему существу своему, вполне отвечает понятиям о том блаженстве, о котором мечтают толпы, применительно к жизни гражданской и домашней.

Весь фламандский обиход запечатлен самой изысканной материальностью. Английский комфорт питает пристрастие к сухим оттенкам, жестким тонам, тогда как во Фландрии старинное внутреннее убранство домов радует мягкими красками, подлинным уютом; оно говорит о труде без усталости; трубки курильщиков свидетельствуют об удачном применении неаполитанского far niente; в убранстве обнаруживается мирное художественное чутье, его необходимая предпосылка[8 - Ничегонеделания (ит.).] – терпение и необходимое условие его долговечности – добросовестность. Весь характер фламандский – в двух словах: «терпение» и «добросовестность», которые, может показаться, исключают собой богатые оттенки поэзии и делают нравы страны столь же плоскими, как ее широкие равнины, столь же холодными, как ее пасмурное небо. Ничего подобного на самом деле нет. Цивилизация воспользовалась своим могуществом, видоизменив здесь все, даже следствие климата. Если внимательно рассматривать произведения рук человеческих, созданные в различных местах земного шара, то прежде всего бываешь поражен тем, что в полосе умеренного климата им свойственны серые и бурые краски, тогда как в жарких странах они отличаются самыми яркими красками. Нравы, несомненно, должны сообразоваться с таким законом природы. Обе Фландрии, где в старину господствовали темные тона и проявлялся вкус к однообразной окраске, позаботились о том, чтобы оживить мрачную, как сажа, атмосферу страны бурными политическими треволнениями, которые подчиняли их то бургундцам, то испанцам, то французам, побратались с немцами и голландцами. От Испании они заимствовали роскошь багреца, блестящий атлас, многоцветные ковры, перья, мандолины и придворные манеры. От Венеции, взамен своего полотна и кружев, они получили фантастические стеклянные изделия, в которых вино светится и даже становится вкуснее. От Австрии у них осталась тяжеловесная дипломатия, придерживающаяся правила: семь раз отмерь, один – отрежь. Благодаря сношениям с Индией проникли сюда причудливые выдумки Китая и японские диковинки. Однако, несмотря на терпеливую готовность фламандцев все собирать, ни от чего не отказываться, все переносить, на обе Фландрии нельзя было смотреть иначе, как на какой-то общеевропейский склад, вплоть до тех пор, пока открытие табака не связало дымом разрозненные черты их национального облика. С этих пор, как ни была раздробленна его территория, весь народ фламандский объединился в пристрастии к трубке и пиву.

Когда эта страна, по природе своей тусклая и лишенная поэзии, ввела в свой обиход благодаря своей неизменной домовитости роскошь и идеи своих господ и соседей, в ней сложилась своеобразная жизнь и характерные нравы, нисколько не запятнанные рабским подражанием. Искусство ее, воспроизводя исключительно внешние формы, лишилось всякой идеальности. Так что от этой родины пластической поэзии не требуйте ни комедийного огонька, ни драматической напряженности действия, ни смелых взлетов эпопеи или оды, ни гения музыкального, но она щедра на открытия и научные рассуждения, требующие времени и света лампы. На всем здесь печать наслаждения земными радостями. Человек видит здесь исключительно то, что есть, мысль его всеми своими изгибами так заботливо приспосабливается к нуждам жизни, что ни в одном своем произведении не улетает за пределы реального мира. Единственная политическая идея, устремленная в будущее, порождена была в этом народе тоже, по существу, экономическими соображениями; революционная сила возникла у него от хозяйственного желания сесть с локтями за стол и самому распоряжаться под навесами своих стойл. Чувство благополучия и внушенный богатством дух независимости породили здесь раньше, чем где бы то ни было, ту потребность в свободе, которая позже стала мучить Европу. Таким образом, при постоянстве идей и упорстве, какое фламандцам дает воспитание, они некогда стали грозными защитниками своих прав. У этого народа ничто не делается кое-как: ни дома, ни мебель, ни плотина, ни обработка земли, ни восстание, – поэтому он сохраняет за собой монополию на все, за что бы ни брался. Производство кружев, требующее терпения от сельского хозяина, а еще больше от мастера, и производство полотна передаются по наследству, как родовые богатства. Если бы нужно было показать человеческое постоянство в самой чистой его форме, то, может быть, всего правильнее было бы взять для этого портрет доброго нидерландского бургомистра, способного, как это столь часто случалось, честно и скромно умереть ради выгод Ганзейского союза. Но тихая поэтичность такой жизни еще обнаружится сама собой в описании дома, одного из последних в Дуэ домов, еще сохранявших свой патриархальный характер во времена, когда начинается наша повесть.

Из всех городов Северного департамента – увы! – Дуэ больше всех изменяется на современный лад, дух новшества произвел здесь самые быстрые завоевания, и любовь к общественному прогрессу здесь наиболее распространена. С каждым днем в Дуэ исчезают старинные постройки и стираются былые нравы. Парижские моды, тон, манеры здесь преобладают, и вскоре от старой фламандской жизни у обитателей Дуэ только и останется, что сердечность и гостеприимство, испанская вежливость, голландская пышность и опрятность.

Кирпичные дома уступят место особнякам из белого камня. Неуклюжесть батавских форм исчезнет ради изменчивого изящества французских новинок.

Дом, где произошли события, описанные в нашей повести, находится почти на середине Парижской улицы и уже более двухсот лет известен в Дуэ под именем «дома Клаасов». Ван Клаасы принадлежали некогда к тем знаменитейшим семьям ремесленников, которым Нидерланды обязаны коммерческим первенством, сохранившимся за ними в ряде производств. Долгое время в городе Генте за Клаасами оставалось, передаваясь от отца к сыну, предводительство в богатом братстве ткачей. Во время восстания этого большого города против Карла V, пожелавшего отменить его привилегии, самый богатый из Клаасов был так скомпрометирован, что, предвидя катастрофу и будучи принужден разделить участь своих товарищей, он тайно послал свою жену, детей и богатства под защиту Франции, прежде чем войска императора осадили город. Предвидения синдика ткачей вполне оправдались. Его, так же как несколько других горожан, вопреки условиям капитуляции, повесили как бунтовщика, хотя на самом деле он был защитником гентской независимости. Смерть Клааса и его товарищей принесла плоды. Впоследствии за эти бесцельные казни испанский король поплатился утратой большей части своих нидерландских владений. Кровь, пролитая на землю мучениками, – это такой посев, плоды которого пожинаются скорее всего. Хотя Филипп II, наказывавший участников восстания вплоть до второго поколения, простер свой железный скипетр и над Дуэ, Клаасы сохранили свои богатства, породнившись с весьма знатным родом Молина, старшая ветвь которого, тогда еще бедная, разбогатела настолько, что выкупила графство Ноуро, принадлежавшее ей в королевстве Леон только по титулу. В начале XIX века, после многих превратностей, описание которых не представляет интереса, представителем рода Клаасов, в той его ветви, что поселилась в Дуэ, был Валтасар Клаас-Молина, граф Ноуро, предпочитавший именоваться попросту Валтасар Клаас. От огромного состояния, скопленного его предками, приводившими в движение тысячи ткацких станков, Валтасару осталось до пятнадцати тысяч ливров дохода с земель в окрестностях Дуэ и дом на Парижской улице, обстановка которого, в свою очередь, стоила целого состояния. Что же касается владений в королевстве Леон, то они были предметом тяжбы между Молина фламандскими и той ветвью этого рода, что осталась в Испании. Выиграв процесс, Молина леонские приняли титул графов Ноуро, хотя только Клаасы имели право его носить, однако тщеславие бельгийских горожан превышало кастильскую спесь. И вот, когда заведены были записи гражданского состояния, Валтасар Клаас пренебрег лохмотьями своей испанской знатности ради гентской своей славы. Патриотическое чувство так сильно в семьях, подвергшихся изгнанию, что до

последних дней XVIII века Клаасы оставались верны своим традициям, нравам и обычаям. Они роднились только с исконной буржуазией: требовалось наличие известного числа старшин и бургомистров в роду невесты, чтобы Клаасы приняли ее к себе в семью. Они брали себе жен в Брюгге или Генте, в Льеже или в Голландии, чтобы увековечить обычаи своего домашнего очага. К концу прошлого века круг близких им людей, все более и более сужавшийся, ограничивался семью-восемью семействами, принадлежащими к судейской знати, нравы которой, тога с широкими складками и официальная полуиспанская важность гармонировали с их привычками. Обитатели города питали к роду Клаасов благоговейное почтение, перешедшее в своеобразный предрассудок. Непоколебимая честность, безупречная порядочность Клаасов, неизменная чинность в быту – все это делало их таким же предметом исстари укоренившегося суеверия, как и традиционный праздник Гейана, суеверия, прекрасно выражающегося в словах: «дом Клаасов». Исконным духом Фландрии веяло от этого жилища, представлявшего для любителей старины типичный образец скромных домов, какие строили себе в Средние века богатые горожане.

Главным украшением фасада была двустворчатая дубовая дверь с крупными шляпками гвоздей, вбитых в шахматном порядке, в центре которой Клаасы горделиво вырезали два скрещенных ткацких челнока. Дверной свод, сложенный из песчаника, завершался заостренной аркой, на которой, в особой башенке, увенчанной крестом, водружена была статуэтка святой Женевьевы, занятой прядением. Время, конечно, наложило свой отпечаток на тонкие украшения двери и башенки, но прислуга так заботливо за ними присматривала, что еще и теперь прохожие могли рассмотреть их во всех подробностях. Также и наличник, состоявший из нескольких сдвинутых вместе колонок, сохранил свой темно-серый цвет и блестел, точно его покрыли лаком. С обеих сторон двери в нижнем этаже было по два окна, таких же, как и все остальные окна в доме. Их обрамление из белого камня заканчивалось под подоконником пышной раковиной, а наверху – двумя аркадами, в которые вдавалась вертикальная линия креста, делившего окно на четыре неравные части, потому что поперечная перекладина помещалась на такой высоте, чтобы получался крест, что придавало нижним частям окна размеры вдвое больше против закругленных верхних. Двойная аркада была окаймлена бордюром из трех нависающих друг над другом рядов кирпичей, которые то выступали вперед, то вдавались в стену почти на дюйм, образуя греческий орнамент. Маленькие ромбовидные стекла были вставлены в чрезвычайно тонкий, окрашенный в красный цвет железный переплет. Стены из кирпичей, скрепленных белой известью, поддерживались каменной связью на углах и по фасаду. Во втором этаже было пять окон, в третьем только три, а на чердак свет проникал через большое круглое

отверстие, состоявшее из пяти частей, окаймленное песчаником и помещенное, подобно розе над входом соборного портала, в середине треугольного фронтона, образующего щипец. На кровле имелся флюгер в виде веретена с пряжей. Обе боковых стороны этого большого треугольника, образуемого стеной со щипцом, были сложены в виде прямоугольных уступов, вплоть до верхней линии второго этажа, где справа и слева дом был украшен по углам фантастической звериной пастью для стока дождевых вод. По низу дома шел ряд песчаниковых глыб в виде завалинки. Наконец – еще один след старинных нравов: с обеих сторон двери, между окнами, выходил на улицу деревянный трап, окованный широкими железными полосами, через который спускались в подвалы. Еще со времени постройки дома фасад тщательно чистили два раза в год. Если выпадал кусочек извести, его сейчас же опять вмазывали. С окон, с подоконников, от столбов сметали пыль заботливей, чем с самого драгоценного мрамора в Париже. Во внешнем облике дома не было, таким образом, ни малейшего упадка. Правда, кирпичные стены потемнели от времени, но дом берегли, как старую картину, как старую книгу, которые дороги любителю и вечно оставались бы новыми, если бы не подвергались в нашем климате действию вредоносных газов, угрожающих и нам самим. Облачное небо, влажный фламандский воздух и тень на узкой улице очень часто лишали это строение блеска, присущего изысканной опрятности, которая, впрочем, придавала ему унылый и холодный вид. Поэт предпочел бы, чтобы какая-нибудь травка пробилась в окнах башенки или мох – в выемке песчаника; он пожелал бы, чтобы растрескалась кирпичная кладка, чтобы ласточки свили себе гнездо под аркадами окна, меж красных кирпичей их тройного орнамента. Таким образом, тонкая отделка и опрятный вид фасада, потертого от постоянной чистки, придавали ему суховатую порядочность и чинную почтенность, из-за которых, вероятно, романтик стал бы искать себе другую квартиру, если бы ему пришлось поселиться напротив этого дома. Когда посетитель тянул за сплетенный из проволоки шнурок звонка, висевший вдоль дверного косяка, и явившаяся на звонок служанка открывала ему дверь с решетчатым оконцем посередине, дверь тотчас же от собственной тяжести вырывалась из рук и хлопала так, точно была сделана из бронзы, – до такой степени громко и тяжко отдавался звук под сводами просторной галереи, мощенной плитками, и в глубине дома. Галерея эта, расписанная под мрамор, всегда прохладная и посыпанная мелким песком, вела в большой квадратный внутренний двор, выложенный широкими муравлеными плитами зеленоватого цвета. Налево находились бельевая, кухня, людская, направо – дровяной сарай, склад каменного угля и службы, у которых двери, окна и стены покрыты были росписью и поддерживались в исключительной чистоте. Свет, проникая во двор, окруженный четырьмя красными стенами с белыми полосами, отражался и

принимал розовые оттенки, сообщавшие фигурам и мельчайшим деталям этой росписи таинственную грацию и фантастичность.

Другой дом, совершенно схожий со зданием, выходившим на улицу, и именуемый во Фландрии задней квартирой, возвышался в глубине двора и служил исключительно для жизни семьи. В нижнем этаже первой комнатой была приемная, освещаемая двумя окнами со стороны двора и двумя другими, выходившими в сад, который был такой же ширины, как дом. Две стеклянные двери, расположенные друг против друга, вели – одна в сад, другая – во двор, а так как находились они на одной линии с дверью, ведущей на улицу, чужой человек уже при входе мог охватить глазом и весь внутренний вид жилища, и даже увитую зеленью стену в глубине сада. Передний дом, предназначавшийся для приемов и имевший в третьем этаже покои для приезжих, заключал в себе, разумеется, художественные произведения и великие накопленные богатства, но ни в глазах Клаасов, ни с точки зрения знатока ничто не могло сравниться с сокровищами, украшавшими комнату, где в течение двух веков протекала жизнь семейства. Клаасу, умершему ради свобод Гента, ремесленнику, о котором получилось бы слишком слабое представление, если б историк упустил сказать, что его состояние достигало сорока тысяч серебряных марок, заработанных на изготовлении парусов для нужд всемогущего венецианского флота, – этому Клаасу другом был знаменитый резчик по дереву Ван-Гуизий из Брюгге. Не раз скульптору случалось обращаться к кошельку ремесленника. Незадолго до гентского восстания разбогатевший к тому времени Ван-Гуизий приготовил своему другу неожиданный подарок: вырезал для него из цельного черного дерева главные сцены из жизни Артевелде, пивовара, – а потом некоторое время короля обеих Фландрий. Эта деревянная обшивка, состоявшая из шестидесяти панно, изображала до тысячи четырехсот персонажей и считалась важнейшим произведением Ван-Гуизия. Капитан, стороживший граждан, которых Карл V приказал повесить в день своего въезда в родной город, предлагал, говорят, Клаасу возможность бежать, если тот подарит ему произведение Ван-Гуизия; но ткач уже отослал панно во Францию. Зал, весь целиком украшенный этими панно, которые в память казненного мученика сам Ван-Гуизий вставил в деревянные рамы, окрашенные ультрамарином с золотыми жилками, является, конечно, наиболее совершенным произведением мастера, и самые маленькие кусочки этих панно теперь ценятся на вес золота. С простенка над камином смотрел Клаас, написанный Тицианом, в костюме председателя суда по делам о разделах имущества, и, казалось, руководил еще семейством, которое чтило в нем великого предка. Высокий камин, сложенный из простого камня, в прошлом веке был облицован белым мрамором; на нем стояли старинные часы и два пятисвечника с витыми отрогами дурного вкуса, но из массивного серебра.

Четыре окна были декорированы широкими занавесками из красной с черными цветами камки на белой шелковой подкладке; той же тканью была обита и мебель, которою зал был заново обставлен при Людовике XIV. Явно современный паркет состоял из белых, большого размера деревянных плиток, окаймленных дубом. Потолок, разделенный на несколько картушей, в центре которых был резной маскарон работы Ван-Гуизия, оставили неприкосновенным, и он сохранил темные тона голландского дуба. В четырех углах зала возвышались колонки с подсвечниками, такими же, как на камине; середину зала занимал круглый стол. Вдоль стен были симметрично расставлены карточные столы. В те годы, к которым относится наше повествование, на двух золоченых консолях с досками белого мрамора стояло по стеклянному шару, наполненному водой, где над песком и раковинами плавали красные, золотистые и серебристые рыбки. Комната была блистательной и в то же время мрачной. Потолок неизбежно поглощал лучи, не давая никакого отражения. Если со стороны сада лился обильный свет, играя на резьбе черного дерева, то окна, выходившие во двор, давали его так мало, что на противоположной стене лишь чуть-чуть сверкали золотые жилки, поэтому в зале, столь великолепном в ясный день, чаще всего господствовали тусклые краски, блеклые, меланхолические тона, какие осеннее солнце разбрасывает по макушкам леса. Излишне описывать здесь подробно дом Клаасов, в других покоях которого будут происходить разные сцены нашего повествования; пока достаточно общего знакомства.

В конце августа 1812 года, после воскресной вечерни, возле окна, обращенного к саду, в глубоком кресле сидела женщина. Косые лучи солнца, падавшие из сада, пронизывали весь дом, пересекали зал, умирали причудливыми отблесками на деревянной резьбе, украшавшей стены со стороны двора, и окружали женщину пурпурными бликами, которые отбрасывала камковая занавеска на окне. Если бы даже посредственный художник написал так эту женщину, то, наверное, создал бы поразительное произведение, изобразив ее лицо, полное скорби и меланхолии. Положением тела и вытянутых ног изобличалось подавленное состояние человека, который столь сосредоточенно отдался одной упорной мысли, что даже утратил ощущение своего физического существа; мысль ее озаряла своим светом будущее – так на берегу моря часто можно видеть луч солнца, который пронзает облака и прочерчивает на горизонте полосу света. Руки женщины свешивались с подлокотников, голова, точно была слишком тяжела, откинулась на спинку кресла. Белое, очень широкое перкалевое платье не давало возможности судить о пропорциях тела, а стан скрывали складки шарфа, небрежно завязанного на груди. Даже если бы свет и не обозначил рельефно ее лица, как бы нарочито его выделяя, и тогда всякий сосредоточил бы свое внимание исключительно на нем; в его

оцепенении, длительном и, несмотря на жгучие слезы, холодном, выражалась такая подавленность, которая поразила бы и самого беззаботного ребенка. Ужасающее зрелище представляла эта беспросветная скорбь, которая могла переливаться через край лишь в редкие минуты и снова застывала на лице, точно лава вокруг вулкана. Можно было подумать: то умирающая мать принуждена покинуть своих детей в пропасти нищеты и никому не может поручить их. В чертах этой дамы, уже лет сорока, но теперь более красивой, чем когда-либо в юности, не было ничего характерного для фламандской женщины. Густые черные волосы буклями падали на плечи, окаймляя щеки. Лоб ее, очень выпуклый и узкий в висках, был желтоват, но под ним блестели черные пламенные глаза. Ее лицо, чисто испанское, смуглое, без ярких красок, попорченное оспой, останавливало на себе взгляд совершенством своей овальной формы. Контуры его, несмотря на искаженные черты, сохранили в себе тонкость и величественное изящество, порой ясно проступавшее, если какое-нибудь движение души возвращало ему первоначальную чистоту. Но больше всего благородства придавал ее мужественному лицу орлиный нос, и хотя высокая горбинка указывала на недостатки его строения, но преобладало все же изящество, недоступное описанию; стенка между ноздрями была так тонка, что сильно просвечивала розовым. Широкие, в морщинках губы хотя и обнаруживали гордость, внушенную знатным происхождением, но запечатлены были природной добротой и дышали приветливостью. Можно было оспаривать красоту этого лица, одновременно полного силы и мягкости, но оно приковывало к себе внимание. Женщина эта, невысокая, горбатая и хромая, долго просидела в девицах еще и потому, что ей упорно отказывали в уме, однако некоторых мужчин сильно привлекало ее лицо выражением горячей страстности и неистощимой нежности; они так и оставались под ее очарованием, удивительным при стольких недостатках. Она очень походила на своего деда, герцога Каса-Реаль, испанского гранда. Исходившее от ее лица очарование, которое в былые годы столь деспотически овладевало душами, влюбленными в поэзию, в эту пору было еще сильнее, чем в любой момент ее прошлой жизни, но направлено, так сказать, в пустоту, выражая колдовскую волю, всемогущую по отношению к людям, однако бессильную перед судьбой. Когда ее взор отрывался от стеклянного шара, от рыбок, на которых смотрела, не видя их, она поднимала глаза, будто бы в отчаянии взывая к Небесам. Ее мучения, казалось, были такого рода, что в них можно было признаться только Богу. Молчание нарушалось лишь сверчками, да кузнечиками, трещавшими в садике, откуда шел жар, как из печи, да глухим позвякиваньем серебра, тарелок и стуком стульев, так как в соседней комнате слуга накрывал к обеду. В это мгновение опечаленная дама прислушалась и, казалось, пришла в себя; она взяла платок, вытерла слезы, попробовала улыбнуться и прогнала выражение скорби,

запечатлевшееся во всех ее чертах, напустив на себя такое равнодушие, как будто жизнь ее была избавлена от всяких тревог. Оттого ли, что, постоянно сидя дома из-за своей немощи, она привыкла подмечать некоторые явления, неприметные для других, но драгоценные для тех, кто одержим необычайными чувствами, оттого ли, что природа вознаградила ее за телесные недостатки, дав ей ощущения более тонкие, чем у существ, по внешнему виду более совершенных, – так или иначе, но она услышала мужские шаги в галерее, построенной над кухнями и комнатами для прислуги и соединявшей передний дом с задним. Шум шагов становился все более внятным. Вскоре и чужой человек, лишенный способности преодолевать душой пространство, соединяясь со вторым своим «я», что часто присуще страстным натурам вроде этой женщины, легко услышал бы чужие шаги на лестнице, ведущей из галереи в зал. При звуке этих шагов существо самое невнимательное было бы охвачено множеством мыслей, ибо невозможно было слышать его хладнокровно. Походка ускоренная или прерывистая пугает. Когда человек вскакивает и бежит с криком: «Пожар!» – его ноги говорят так же громко, как и голос. Если так, то и походка, противоположная по своему характеру, должна производить не менее сильное впечатление. Важная медлительность и спокойная поступь этого человека, вероятно, раздражали бы людей, непривычных к размышлениям, зато натуры нервные или наблюдательные испытали бы чувство, близкое к ужасу, при размеренном звуке шагов, казалось лишенных жизни, но заставлявших трещать половицы, точно о них кто-то ударял поочередно двумя железными гирями. Вы признали бы в этих шагах нерешительную и тяжелую походку старика или величественную поступь мыслителя, влекущего с собой целые миры. Сойдя с последней ступеньки и рассеянно шагая по плиткам, он на минутку остановился у широкой площадки, где кончался коридор, ведущий в людскую, и откуда равным образом можно было проникнуть как в зал, так и в столовую, через двери, спрятанные за искусной резьбой. В это мгновение легкая дрожь вроде той, какую вызывает электрическая искра, пробежала по женщине, сидевшей в кресле, но одновременно нежнейшая улыбка оживила ее губы, а лицо, взволнованное предвкушением радости, засияло, как у прекрасной итальянской мадонны, и сразу же она обрела в себе силу затаить свои мучительные страхи в глубине души, потом повернула голову к шевельнувшейся резной панели, за которой скрывалась дверь в углу зала, и действительно кто-то открыл эту дверь, и притом столь порывисто, что бедная женщина вздрогнула.

Валтасар Клаас появился, сделал несколько шагов, не взглянув на нее, а может быть, и взглянув, да не заметив, и остановился посередине зала, поддерживая правой рукой слегка наклоненную голову. Ужасное страдание, с которым эта женщина не могла свыкнуться, хотя испытывала его многократно каждый день,

сжало ее сердце, прогнало с лица улыбку и провело на смуглом лбу между бровями ту борозду, которая, возникая вновь и вновь, с течением времени запечатлевается навсегда, как след сильных страстей; глаза наполнились слезами, но она быстро их вытерла, взглянув на Валтасара. Невозможно было не испытать глубокого волнения при виде главы дома Клаасов. В молодости он, должно быть, походил на того прекрасного мученика, который грозил Карлу V вновь начать дело Артевелде, но сейчас ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ему было лишь около пятидесяти, и преждевременная старость уничтожила это благородное сходство. Его высокая фигура слегка горбилась – то ли занятия принуждали его сутулиться, то ли хребет его искривился под тяжестью головы. У него была широкая грудь, мощный торс, но нижняя часть тела, хотя и мускулистая, была слабо развита, и это несоответствие в телосложении, прежде, по-видимому, совершенном, занимало умы, старавшиеся объяснить причины такой фантастической внешности какой-нибудь странностью в образе жизни. Густые белокурые волосы, оставшиеся в небрежении, падали по плечам на немецкий манер, но в беспорядке, гармонировавшем с общей странностью его фигуры. К тому же на широком лбу выступили шишки, где Галль помещал миры поэзии. Ясная и глубокая синева его глаз вдруг загоралась так ярко, как то бывает у восторженных исследователей оккультных явлений. Его нос, прежде, вероятно, безупречной формы, теперь удлинился, а ноздри как будто все больше и больше расширялись с годами из-за непроизвольного напряжения обонятельных мускулов. Сильно выдавались волосатые скулы, отчего еще более, казалось, западали щеки, уже поблекшие; красиво очерченный рот был сжат между носом и коротким, резко приподнятым подбородком. Однако лицо его было скорее длинным, чем овальным, так что научная система, приписывающая всякому человеческому лицу сходство с обличием животного, нашла бы себе лишнее подтверждение в Валтасаре Клаасе, у которого в лице было что-то лошадиное. Кожа плотно обтягивала кости, точно ее непрестанно сушил тайный огонь, а по временам, когда он смотрел куда-то в пространство, словно искал там осуществление своих надежд, так и казалось, что он ноздрями извергает пламя, пожиравшее его душу. Его бледное, изборожденное морщинами лицо, его лоб, весь собранный складками, как у старого короля, исполненного забот, а больше всего – глаза, сверкающие от целомудренного огня, порождаемого тиранической идеей, и от внутреннего горения обширного ума, дышали глубокими чувствами, присущими великим людям. Темные круги у впалых глаз, казалось, были вызваны только бессонными ночами и ужасным воздействием вечно обманываемой и вечно возрождавшейся надежды. Всепоглощающий фанатизм художника или ученого, кроме того, обнаруживался в постоянной и странной его рассеянности, о которой свидетельствовала одежда и манера держать себя, которые соответствовали его великолепной и чудовищной

внешности. Широкие волосатые руки его были грязны, под длинными ногтями виднелись черные полосы. Башмаки его были нечищены и без шнурков. Во всем доме только хозяин мог позволить себе эту странную вольность – быть столь неопрятным. Панталоны из черного сукна все в пятнах, расстегнутый жилет, криво повязанный шейный платок, вечно разорванный зеленоватый фрак дополняли то причудливое сочетание жалкого и значительного, которое у всякого другого свидетельствовало бы о нищете, порожденной пороками, но у Валтасара Клааса было небрежностью гения. Как часто порок и гений порождают одни и те же результаты, приводящие в заблуждение толпу! Не является ли гениальность тем излишеством, которое пожирает время, деньги, тело и еще скорее приводит в госпиталь, чем дурные страсти? Кажется, люди питают даже больше уважения к порокам, чем к гению, ибо последнему они отказывают в кредите. По-видимому, тайные труды ученого столь нескоро приносят выгоду, что общество боится рассчитываться с ним при жизни; оно предпочитает ограничить свою расплату тем, что не прощает ему ни его бедности, ни несчастий. Хотя Валтасар Клаас никогда не помнил о настоящем, все же, если он отрывался от таинственных своих созерцаний, если нежность и общительность оживляли его задумчивое лицо, если его пристальный взор, выражая сердечное чувство, терял свой суровый блеск, если он оглядывался вокруг себя, возвращаясь к жизни реальной и обыденной, трудно было тогда не воздать чести пленительной красоте его лица и отпечатавшемуся на нем изяществу ума. Увидев его тогда, все пожалели бы, что он не принадлежит более свету, и всякий сказал бы: «Должно быть, он очень красив был в молодости». Обычная ошибка! Никогда Валтасар Клаас не был более поэтичен, чем теперь. Несомненно, Лафатеру захотелось бы изучить его лицо, говорящее о терпении, о фламандской порядочности, о непорочной душевной жизни, где все было широко и величественно, где страсть казалась спокойной потому, что она была сильна. Нравы этого человека, вероятно, были чисты, слово свято, дружба постоянна, преданность совершенна, но воля, которая направляет эти качества ко благу родины, общества или семьи, роковым образом дала им иное назначение. Этот гражданин, которому надлежало блюсти счастье семьи, умножать благосостояние, направлять своих детей к прекрасному будущему, жил вне круга своих обязанностей и привязанностей, в общении с каким-то родственным ему гением. Священнику он показался бы исполненным благодати, художник поклонился бы ему как великому мастеру, энтузиаст принял бы за ясновидящего Сведенборговой церкви. Разорванный, нелепый, изношенный костюм его странно контрастировал в описываемую минуту с чарующей изысканностью женщины, которая так скорбно им восхищалась. Люди, страдающие физическими недостатками, но умные или наделенные прекрасной душой, проявляют в своем костюме изощренный вкус. Они либо одеваются

совсем просто, понимая, что их очарование всецело в области духовной, либо умеют отвлечь чужие глаза от неправильности своего телосложения какими-нибудь изящными чертами своего облика, привлекающими взгляд и дающими пищу уму. Эта женщина не только отличалась душевным благородством, но и любила Валтасара Клааса тем женским инстинктом, который является прообразом разума ангельского. Воспитанная в среде знаменитейших бельгийских семей, она могла бы развить свой вкус, даже если бы не обладала им от природы, а когда ее наставником сделалось желание постоянно нравиться любимому человеку, то она стала одеваться восхитительно, причем, несмотря на два недостатка в сложении, элегантность ее не казалась неуместной. Ее стан портили, впрочем, только плечи, потому что одно было заметно выше другого. Взглянув через окно во двор, потом в сад, точно желая убедиться, что никого здесь нет, кроме Валтасара, она бросила на него взгляд, полный покорности, отличающей фламандских женщин, ибо уже давно у нее любовью вытеснена была гордость испанской знати, и сказала нежно:

– Валтасар, ты очень занят?.. Вот уже тридцать третье воскресенье ты не ходишь ни к обедне, ни к вечерне.

Клаас ничего не ответил; его жена опустила голову, сложила руки и ждала; она знала, что молчание означает не презрение, не пренебрежение к ней, а тиранически овладевшую им озабоченность. Валтасар был из тех, кто долго хранит в душе юношескую деликатность; он счел бы себя преступником, если бы выразил мысль, хоть сколько-нибудь обидную для женщины, подавленной сознанием физического своего недостатка. Среди всех мужчин только он, вероятно, и знал, что одно слово, один взгляд могут омрачить годы счастья и что обида становится еще жесточе от резкого контраста с обычной мягкостью, ибо, по самой природе нашей, мы сильнее огорчаемся диссонансом в счастье, чем наслаждаемся неожиданной радостью среди горя. Несколько мгновений спустя Валтасар, казалось, пробудился, быстро огляделся и сказал:

– Вечерня? Ах, дети у вечерни…

Он сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на сад, где повсюду росли великолепные тюльпаны; затем вдруг остановился, точно натолкнулся на стену, и воскликнул:

– Почему не достигается соединение в положенное время?

«Неужели он сходит с ума?» – ужаснулась жена.

Чтобы почувствовать весь интерес сцены, вызванный таким положением, непременно нужно бросить взгляд на прежнюю жизнь Валтасара Клааса и внучки испанского герцога Каса-Реаль.

В 1783 году Валтасар Клаас-Молина де Ноуро, которому минуло тогда двадцать два года, был, что мы называем во Франции, красавцем. Чтобы закончить свое образование, он приехал в Париж, где усвоил прекрасные манеры в обществе г-жи Эгмонт, графа Горна, князя Аренберга, испанского посланника, Гельвеция, французов бельгийского происхождения или особ, приехавших из Бельгии, которых по древности их рода или богатству причисляли к знати, задававшей тон в те времена. Молодой Клаас нашел среди них родственников и друзей, и они ввели его в высший свет, когда тот был накануне своего падения, но первоначально его, как и большую часть юношества, сильнее соблазняли слава и науки, чем суета. Он охотно посещал ученых, в особенности Лавуазье, тогда скорее привлекавшего общественное внимание несметными богатствами генерального откупщика, чем открытиями в химии, меж тем как впоследствии великий химик заслонил в нем ничтожного генерального откупщика. Валтасар страстно увлекся той наукой, развитию которой способствовал Лавуазье, и стал самым пылким его учеником, но он был молод, красив, как Гельвеций, и парижанки вскоре научили его дистиллировать только острословие и любовь. С жаром принявшись было за занятия и тем заслужив от Лавуазье похвалы, он покинул своего учителя, чтобы послушать наставниц в области тонкого вкуса, у которых молодые люди проходили последний курс жизненной науки и приобщались к обычаям высшего общества, составляющего в Европе единое семейство. Опьяняющие мечты о светских успехах были недолговечны; вдохнув парижского воздуха, Валтасар уехал, утомленный пустым существованием, не соответствовавшим ни его высокой пылкой душе, ни любящему сердцу. Домашняя жизнь, столь тихая, столь спокойная, о которой он вспоминал при одном имени Фландрии, показалась ему более подходящей к его характеру и стремлениям его сердца. Никакая позолота парижских салонов не изгладила очарования потемневшего зала и садика, где столь счастливо протекало его детство. Нужно не иметь ни домашнего очага, ни отечества, чтобы остаться в Париже. Париж – это город для космополитов или для людей, обручившихся со светской жизнью и простирающих к ней объятия науки, искусства и власти.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Наемные убийцы (ит.).

2

В смертный час (лат.).

3

Приношения по обету (лат.).

4

Испанское ругательство.

5

Дурак (ит.).

6

Прекрасная колесница (лат.).

7

Красивый человек (лат.).

8

Ничегонеделания (ит.).

Купить: https://tellnovel.com/de-bal-zak_onore/nevedomyy-shedevr

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити